САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА

Оксана Ветловская

ПЕПЕЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ

Оксана Ветловская

Самая страшная книга. Пепельная тетрадь

Серия «Самая страшная книга»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74400871
Оксана Ветловская «Пепельная тетрадь». Сборник: ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2026
ISBN 978-5-17-184685-5

Аннотация

Они ждут – те, кто может исполнить самую заветную мечту.

Ждут, пока человек не возжелает чего-либо так сильно, что будет готов заплатить любую, даже самую высокую цену. Отдать чудовищам самое бесценное, кровное. То, без чего человек сам превращается в чудовище.

Эта книга – о чудовищах, которым нужны люди. И о людях, которые могут стать чудовищами – или одержать победу над ними.

Здесь советский врач спасает жизни, открывая жуткую тайну нацистских преступников. Режиссер, променявший талант на коммерческий успех, случайно заглядывает в темное закулисье послевоенного времени. Переродившиеся книги таят зловещую силу, а мечтающий о славе писатель получает дар от того, кому больше не нужны человеческие души. Маленькая уральская

деревня хранит тайну потерпевшего крушение космического корабля. И бок о бок с людьми живут те, кто считает себя венцом творения – и кому надо убивать, чтобы благоденствовать.

А насколько высокую цену готов заплатить за исполнение мечты ты?

Содержание

Закон равноценного обмена 7
Псевдо 58
Конец ознакомительного фрагмента. 71

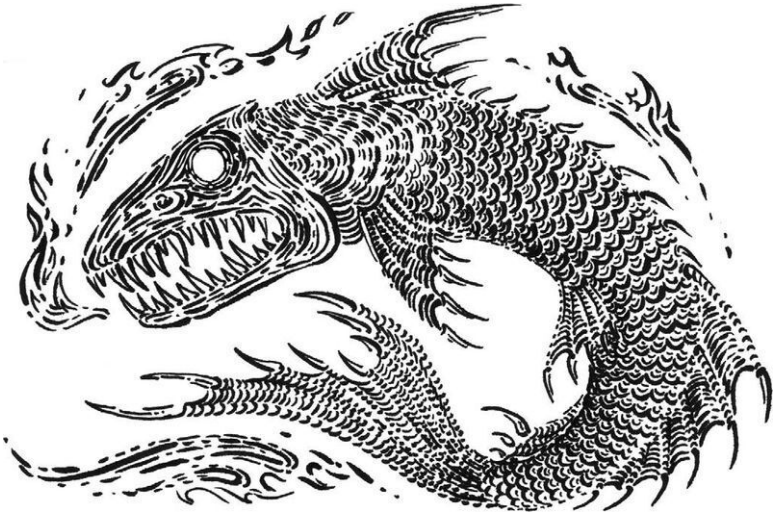
Оксана Ветловская
Пепельная тетрадь
Сборник

Серийное оформление: Юлия Межова.

В оформлении книги и на обложке использованы иллюстрации автора.

© Оксана Ветловская, текст, ил., 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *



Закон равноценного обмена

Этого ребенка Волгин отдал сам. Собственноручно. Самое ужасное – ребенок улыбался. Волгин, по правде говоря, не верил, что такое вообще бывает. То есть он слышал еще в мединституте – от опытных акушеров на перекурах, на практике, – будто только что рожденные дети могут улыбаться, но с молодым задорным скептицизмом относил подобные рассказы по части баек. Вроде того, что тело умершего человека становится чуть легче – ровно настолько, сколько весит отлетевшая душа.

Ребенок, склизкий, синюшный, со странноватым нездешним личиком только пришедшего в этот мир создания, проорался, посмотрел на Волгина удивительно ясными глазами и совершенно отчетливо ему улыбнулся. А затем к Волгину шагнула медсестра Рози, которая, скучая, наблюдала за родами, и забрала этого ребенка. И Волгину ничего не оставалось, кроме как отдать его. Все равно ребенка забрали бы – если б понадобилось, то силой, и тогда Волгину ох как не поздоровилось бы. А Волгин хотел жить. Кроме того, он здесь был нужен. Очень нужен.

Роженице Волгин ничего не стал объяснять, она и так все знала, более того, была готова к такому повороту событий и даже, кажется, восприняла произошедшее с облегчением. В конце концов, с детьми тут было куда труднее, чем без детей.

Пеленок не было. Воды тоже не было – точнее, шла ледяная в душевых по утрам, а в другое время каждый поход за водой грозил смертельной опасностью. И от работ по прошествии некоторого времени матерям было не отвертеться: отпуска по уходу за ребенком тут никто не давал. И сейчас-то Волгину придется убеждать начальство, чтобы женщине дали отлежаться хоть пару дней.

Волгин принял послед, тщательно проверил его на целостность, убедился, что у пациентки нет сильного кровотечения, и оставил ее на попечение Лёньки, парня с незаконченным ветеринарным образованием, смекалистого и рукастого, хватающего навыки огромными порциями, как сам Волгин еще недавно хватал, почти сразу после меда оказавшись сначала в полевом госпитале, а потом здесь. Тут-то и насобачился принимать роды: лагерь был смешанным, полно женщин, особенно много почему-то беременных. Будто специально свозили их сюда. А так специальность у Волгина была – терапевт. Это здесь он стал и хирургом, и акушером, и инфекционистом, и психологом, и чуть ли не священником, и бог знает кем еще. И в Бога комсомолец Волгин поверил именно здесь. Ничего ему больше не оставалось. Просто нужен был кто-то еще, кроме него самого. Слишком страшно было оставаться крайним.

Как сейчас. Вот как сейчас.

Подобное случалось каждые несколько дней, а иногда и не по одному разу в день. И каждый раз, после того как все за-

канчивалось, Волгин принимался «метаться», как это называл старший коллега Станислав Вольфович: быстро вышагивать, почти бегать по кранкенбау, по центру прохода, вдоль длинной печи, которая, впрочем, редко затапливалась. Бегать, нарочито топать, растирать нервный тик на левом глазу. Только чтобы не слышать бульканья за крайними нарами – и не видеть, как там, в углу, одна из трех приставленных к нему медсестер-немок (Рози, Грета, Хильда) топит в бочке очередного только что рожденного ребенка.

Волгин резко развернулся в конце барака, все-таки мельком увидев, как Рози распахивает дверь и выкидывает на улицу что-то небольшое, на что мигом набрасываются полчища вездесущих крыс. Тело ребенка. Того самого ребенка, который Волгину улыбнулся.

По студенческой привычке дико хотелось курить, но это был холостой позыв, как рвота при пустом желудке – дым, любой, совершенно любой, даже малейший привкус дыма Волгин не переносил с тех самых пор, как нюхнул здешние жаровни, на которых сжигали тела умерших узников – а случалось, еще и не совсем умерших… Это было небольшое отделение Аушвица. Крематориев-печей тут пока не было. Еще не успели построить.

Порой Волгину думалось, что от сумасшествия его спасает только ответственность.

Три близко стоящих, с крытыми переходами, кранкенбау – больничных барака. Хлипкие дощатые постройки, в ре-

шето прогрызенные крысами, с земляным полом и двумя рядами трехэтажных коек. Посередине длинная печь с двумя топками по краям, точнее две печи, соединенные длинным горизонтальным дымоходом. Именно на этом кирпичном дымоходе, единственном хоть сколько-нибудь пригодном для подобных дел месте, Волгин осматривал, оперировал, принимал роды. Рядом неотлучно находился Лёнька – помогал, отгонял осатаневших крыс и, конечно, учился. Волгин старался объяснять каждое свое действие. Он сознательно готовил себе замену – мало ли, на всякий случай. Пулю можно было словить ни за что, просто по прихоти охранника на вышке. Не уберег бы и застиранный белый халат, надетый поверх полосатой робы.

Хотя и без пули запросто можно было окочуриться. Здешний коллега Волгина – более того, старший друг, более того, учитель, Станислав Вольфович Козаржевский, блестящий хирург, способный при почти полном отсутствии инструментов делать невероятные вещи, – полгода тому назад сгорел от скоротечного туберкулеза, как на незримом костре. Туберкулез, пневмония, дизентерия, тиф накидывались на изнуренные голодом тела заключенных будто крысы, которые тут озверели настолько, что кусали лежащих на нарах больных и могли броситься прямо в лицо склонившемуся над койкой врачу. С тех пор как Станислава Вольфовича не стало, Волгин остался крайний. Крайний перед Богом. Дощатый кранкенбау иногда представлялся Волгину утлым ко-

раблем, который он, неопытный капитан, почти вслепую ведет сквозь бурю бушующей кругом смерти.

Почти полное отсутствие лекарств – официально лагерный лазарет снабжали лишь аспирином. Вместо бинтов – тонкие бумажные ленты. Шприцов мало, и кипятить их негде, так что приходилось многажды использовать нестерильные. Солома в матрасах, задубевших от пота и испражнений, давно истерлась в пыль, и больные лежали почитай на голых сучковатых досках. В довершение всего пациенты не были избавлены от селекций: каждую неделю в больничные бараки аккуратно захаживал пахнущий одеколоном и до скрипа выбритый доктор Шпехт, главный лагерный врач, властвовавший в лабораториях по соседству, и интересовался, кто из обитателей кранкенбау представляется Волгину «очевидно нежизнеспособным». И всякий раз Волгин рьяно доказывал, что таких нет, что жизнеспособны все, что у каждого из его пациентов есть шансы на выздоровление. Но доктор Шпехт неуклонно требовал свою дань в виде людей, отправляемых в лаборатории для инъекции фенола в сердце.

– Мои отчеты, коллега, должны включать определенное число убывших! Кто тут зря поглощает паек, кто тут объедает своих товарищей, кому давно пора освободить место? Думайте, думайте, дорогой коллега, иначе отправитесь на процедурку вместо ваших смертников.

И неизбежно Волгину приходилось выбирать: кто уже точно не поднимется с больничных нар, кто своей смертью

спасет чью-то жизнь. Иногда доктор Шпехт отбирал узников для других, не менее страшных дел – для испытания новых лекарств либо какого-то химического оружия или в качестве материала своим практикантам, которые под его снисходительным руководством резали и пришивали что хотели и как хотели, ни в грош не ставя жизнь лагерников. После лабораторных опытов Волгину приходилось собственноручно выцарапывать людей с того света. Зачастую уже безрезультатно. Поэтому при отборе для лабораторий Волгин, напротив, всячески доказывал, что его пациенты слишком слабы для экспериментов. И все равно ему приходилось выбирать. Всегда приходилось выбирать.

Спасать чью-то жизнь ценой чьей-то смерти.

Благодарение богу, Волгин великолепно владел немецким. Именно здесь он не раз добрым словом помянул настойчивость родителей-германистов, когда-то натаскивавших его на сильные глаголы, как другие натаскивают детей на фортепианные гаммы: шпрехен, шприхьт, шпрах, хат гешпрохен, и еще дни, когда дома говорили только по-немецки, свихнуться можно. Отчасти именно в пику родителям Волгин поступил в мед (чтобы тут же провалиться в ад латыни и анатомии) – и вот, надо же, где и как все это пригодилось… Вообще, среди своих по большей части «немых» пациентов (поляки, русские, украинцы, белорусы), знающих по-немецки лишь свой личный номер да основные команды, Волгин был сущим посредником между миром заклю-

ченных и миром надзирателей. Восприятие эсэсовцев, фанатично разделявших все вокруг по принципу «свой – чужой», на Волгине неизменно давало сбой. Немецкоговорящий, с безупречным произношением, Волгин и внешне походил на немца, причем на идеального, плакатного немца. Рослый, белокурый и пронзительно-голубоглазый, он вызывал у нацистов некое зоологическое уважение. Этим Волгин пользовался просто отчаянно, на самой грани дозволенного. Напрямую требовал у Шпехта лекарства, инструменты, перевязочный материал – и порой действительно получал. Мало, гораздо меньше нужного, но получал. Более того, приставленные к нему медсестры Рози, Грета и Хильда, эти бездушные колоды, задастые немки, топящие в бочке младенцев, в открытую желали с ним переспать, наплевав на любые свои расовые запреты. От недоедания и хронической усталости в чертах Волгина только заострилась и без того иконописная, аскетичная и строгая красота. Медсестры призывно склабились ему и звали его «наш прекрасный русский доктор». Волгин отчетливо понимал: затей он интрижку с кем-нибудь из немок, да хоть со всеми тремя разом, снабжение лазарета сразу заметно улучшится, в обход правил из шпехтовской лаборатории хлынут лекарства, бинты, инструментарий – но вот это уже далеко превосходило его силы. Дело было даже не в том, что Волгин и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя мужчиной в плотском смысле. Просто сам вид этих трех женщин, как ни в чем не бывало уто-

пивших сотни крохотных, с едва перерезанной пуповиной детей, вызывал у Волгина такую лютую, до хрипа, утробную ненависть, что ему хотелось только одного: сомкнуть пальцы на горле каждой, опустить головой в ту самую бочку и дождаться конвульсий. С торжеством, с величайшим наслаждением. Именно эта воображаемая картина помогала Волгину хранить самообладание, когда от немок особенно тошнило.

Все, решительно все в лагере было за гранью человеческого. Но именно порядки в отношении детей оказались наиболее невыносимы. Когда Волгина еще только привезли сюда, новорожденных тут топили подряд, без разбору. Потом возникли новые правила: светловолосых и голубоглазых младенцев забирали, чтобы «германизировать» – отдать в бездетные немецкие семьи, а всех прочих, особенно детей евреек и цыганок, по-прежнему топили, как котят, тогда как сам Волгин не смог бы утопить и котенка… С той самой поры рождение блондинистых детей («беленьких», как, помнится, ласково называла таких бабушка) стало праздником. Счастье было, когда светленькие дети рождались у евреек – таких младенцев Волгин буквально втюхивал Рози, Грете или Хильде, обрушивая на их тупые головы всю мощь нацистской казуистики, в которой навострился, беседуя с доктором Шпехтом. И детей уносили кормилицам.

Немилосердна была судьба по отношению и к тем младенцам, которые не годились для онемечивания, но избегали участи быть утопленными. Иногда такое случалось при ночных родах, когда дежурной медсестре было лень торчать в кранкенбау, и она дрыхла где-то в лабораториях. Спасенных младенцев матери всячески скрывали от надзирателей. Отказывали себе в пайке, чтобы выменять на него простыню, которую можно было бы разорвать на пеленки. С риском для жизни выходили из лазарета за водой (покидать кранкенбау

пациентам категорически запрещалось, особенно ночью, когда охранники стреляли во все, что движется; из ночных вылазок узники частенько уже не возвращались). Обычно воду для женщин приносил Лёнька или сам Волгин, но порой не было ни малейшей возможности отойти от импровизированного операционного стола. Выстиранные пеленки матери сушили на собственном теле. Дети тем временем медленно погибали: редко у кого из истощенных женщин было молоко. Младенцы, все до одного, вопреки ужасающим лагерным условиям, рождавшиеся крепкими и голосистыми, сначала от голода прекращали плакать, только тихо стонали. Затем их кожа становилась тонкой, прозрачной, так что были видны сосуды, сухожилия, даже кости. Потом дети превращались в обтянутые кожей скелетики, потом умирали. И тогда матери, сами истощенные до полного отупения чувств, оставляли их крысам – хоронить было негде, да и не было сил; не на нацистские жаровни же нести. К тому ж матерей весьма скоро после родов переводили в общие бараки и отправляли, как всех, на работы, что только приближало гибель младенцев. Такие матери и дети были еще одним гвоздем в душе Волгина, одним из многих. Таких он до последнего старался удержать в кранкенбау, где, по крайней мере, не надо было никуда отлучаться, а в полу под нарами были вырыты тайники, куда можно было спрятаться на время селекций.

«Метания» Волгина, так и бегавшего по бараку туда-сюда,

прервал Лёнька:

– Гавриил Алексеич! Гавриил Алексеич!

– Чего? – дернулся Волгин, мигом возвращаясь из мрачных мыслей в еще более мрачную действительность. – Кровотечение все-таки сильное?

– Не, у родильницы все нормально. Там вас этот зовет, как его… Вильчик?

– Вильчак! Черт бы его побрал! Я ему сто раз говорил, чтобы даже не приближался к моему лазарету!

Глухо радуясь, что сейчас можно будет выплеснуть безысходность вместе с яростью, Волгин пошел к двери, возле которой ждал, не решаясь войти, Яцек Вильчак, один из верховодов лагерного Сопротивления. Уже в самой фигуре Волгина, высокой, сутулой, с угрожающе склоненной головой, было что-то такое, отчего Вильчак сразу попятился.

– Пан Волгин, у меня до вас дельце есть… Небольшое дельце…

– Только не говори, что заболел, – с ненавистью сказал Волгин.

– Боже упаси, пан! – Тут Вильчак аж присел, но все-таки осмелился выпалить шепотом: – Знаем, у вас в бараке солидные тайники есть. Оружие бы нам спрятать. Очень надо. Обыски пошли. Вас ведь сам комендант чуть ли не своим считает, у вас точно искать не будут. Э!..

Волгин схватил поляка за грудки и мерно затряс в такт своим словам:

– Я тебе говорил – не ходить к лазарету? Говорил. Обещал пинка дать, если еще сунешься? Обещал. Я тебе, говнюку безмозглому, твое оружие знаешь куда засуну…

Вильчак отлично говорил по-русски, и потому Волгин не отказал себе в удовольствии подробно растолковать на великом и могучем, куда именно поляк должен засунуть свое оружие и каким именно образом Волгин хотел бы использовать все здешнее Сопротивление.

– У меня пациенты, дурак. У меня роженицы. Я денно и нощно бьюсь, чтобы все эти люди жили, а такие, как ты, играются в героев! Вы, спартаки, играете, а другие гибнут!

Еще Станислав Вольфович заповедовал: не связываться с Сопротивлением. Дело врача – лечить. Ни до чего иного врачу не должно быть дела. Особенно до мероприятий, за которые можно заплатить жизнью – цена этой валюты и так несказанно высока. Вскоре после смерти друга и учителя Волгин забыл об этой заповеди. Позволил устроить штаб Сопротивления в пристройке инфекционного барака. Был раньше такой. Отдельный четвертый барак. Там заправлял Збышевский, отличный инфекционист, у которого Волгин многому успел научиться. Кроме того, к счастью или несчастью, вместе со Збышевским в лагере оказалась его жена, известный польский гинеколог-акушер, автор нескольких монографий. Именно она научила Волгина, как отделять плаценту вручную. Збышевские с радостью приняли членов лагерного Сопротивления, а Волгин коллег не отговорил. Хотя

мог бы. Тот барак, инфекционный, эсэсовцы после обысков просто сожгли дотла вместе с лежавшими на нарах больными, господи, как они кричали. А Збышевских расстреляли. Комендант лагеря Клаузен, небольшой и чистенький, с лицом как детская попка, похожий на купидона в униформе, тогда подошел к Волгину и спросил: «Может, и вас поставить к стенке, доктор?» В Волгине от страха и отчаяния просыпалась полная бесшабашность, не раз выручавшая его и при сложных операциях, и в родовспоможении, – спасла она его и тогда: «Да что хотите, герр комендант, могу и к стенке встать, и на плацу без штанов сплясать, только прежде позвольте мне тех идиотов из Сопротивления лично утопить в отхожем месте». Клаузен сочно заржал и оставил Волгина в покое.

– Вы, пан доктор, все сидите в своей норе, как крыса! – запальчиво воскликнул Вильчак. Волгин так встряхнул поляка, что зубы лязгнули, но тот не унимался: – Сидите и ждете, пока фрицы построят газовые камеры, как в большом Аушвице! Тогда вы отправитесь туда вместе со всеми своими пациентами! А ведь можно устроить восстание, можно бежать отсюда!

– У меня, знаешь, пациентка только что родила. Куда она, интересно, побежит, а? Может, ты ее на себе потащишь?

– Здесь все погибнут, все до единого. И без газовых камер погибнут. Матерь Божья, пан доктор, вы редко куда выходите и даже не представляете, что тут за место! По-вашему,

отчего запрещено выходить из бараков ночью? Как думаете, почему здесь до сих пор нет печей? Почему трупы жгут прямо так? Вы хоть раз видели, куда деваются кости? Ваши немки столько мертвых детей повыкидывали, здесь все кругом должно быть в костях – где они?

– Крысы растащили, идиот, – тяжело сказал Волгин. – Они и тебе яйца отгрызут, если будешь торчать тут слишком долго. Гуляй отсюда. – С этими словами Волгин развернул поляка и отвесил ему крепкого пинка под зад. Вильчак с хорошим ускорением пробежал вперед, чуть не хлопнувшись в грязь, но так и не унялся:

– А ведь я могу организовать вам лекарства, пан доктор! Какие угодно, все, что пожелаете! Подумайте, пан доктор! Вы можете спасти не только наше дело, но и кого-то из ваших пациентов, прямо сейчас!

– Пошел!.. – погрозил ему кулаком Волгин. – А не то догоню и так вмажу, что копчик тебе сломаю! Сам сломаю – сам починю!

Поляк невольно схватился пониже спины – видать, уже неплохо получил – и наконец убрался прочь.

Только теперь Волгин заметил группу немецких офицеров, подошедших уже совсем близко. Одним из них был главный лагерный врач Шпехт.

– Что у вас тут происходит, коллега? Опробуете альтернативные методы лечения?

– Добрый день, доктор Шпехт. Да вот, видите, симулянта

прогнал, – соврал Волгин.

– Если еще сунется, напомните ему, что за симулирование полагается расстрел. Познакомьтесь с доктором Нойманом, коллега, он специально приехал из Берлина, чтобы побеседовать с вами. Представьте, слухи о ваших методах родовспоможения дошли даже до столичных клиник.

– Добрый день, доктор Нойман, – поздоровался Волгин. – Сразу смею вас заверить, никаких особенных методов у меня нет…

Доктор Нойман, в эсэсовском чине, как и все здешние немецкие врачи, оказался упитанным симпатягой, похожим на хорошо набитое чучело тюленя, с совершенно стеклянными выпученными глазками на круглом лице, украшенном светлыми усиками. Он уставился на Волгина с большим любопытством.

– Так вы и есть Габриэль Волгин? – произнес Нойман его имя на немецкий манер. – Выглядите вы как немец. И говорите как немец. Ваши предки – немцы?

– Нет, русские.

– Это правда, что за целый год ежедневного родовспоможения в здешних антисанитарных условиях у вас не было ни одного смертельного случая ни среди матерей, ни среди младенцев? Ни мертворождения, ни заражений?

– Да, это правда, доктор Нойман. Все матери выжили. Младенцы рождались здоровыми и если умирали, то позже, от голода… или от других причин.

– Самые современные немецкие клиники не могут похвастаться такими показателями! – В стеклянистых глазах Нойман Волгин прочел смесь невольного восхищения и злобной зависти. – А у вас тут полное свинство, нет элементарных препаратов… Как вы объясните свой успех?

– У меня были хорошие учителя. В частности, польский доктор Ирена Збышевская. Первые полгода я работал под ее руководством. В остальном… Возможно, здешние условия будят в человеческом организме некие дополнительные жизненные резервы. Возможно, истощенные тела матерей-лагерниц не привлекают даже патогенные организмы. Возможно, мне просто очень везет. Возможно… это просто воля Божья, доктор Нойман.

– Воля Божья, – зло повторил Нойман. – Знаете ли вы, доктор Волгин, что это отделение Аушвица создавалось специально для беременных? Для самок унтерменшей. Для цыганок, евреек, славянок и прочего сброда. Чтобы они здесь подыхали в грязи. Чтобы кормили собой землю, на которой затем зацветут немецкие сады. Недаром сюда стараются не привозить заключенных с медицинским образованием, а вы здесь оказались по досадной случайности. Вам, доктор Волгин, знакомо такое понятие, как закон равноценного обмена?

– Это из алхимии? – бесстрастно уточнил Волгин.

– Именно так. Согласно этому закону, если где-то убудет – в другом месте непременно прибудет. Чем больше загнется детей у представителей низших рас, тем больше родится здо-

ровых арийских младенцев. А вы нарушаете наш порядок! Это из-за вас немецкие дети рождаются слабыми и больными! Это из-за вас немецкие матери страдают в тяжелых родах! Потому что вы спасаете унтерменшей! Я подумаю, что с вами делать. Жаль, что вы не немец. Правильно было бы увезти вас в Берлин, чтобы вы работали на благо Германии. Я обсужу этот вопрос со своим начальством. Надеюсь, вы не идейный коммунист? Хотя вряд ли, раз вы рассуждаете о Боге.

– Я врач, – сказал Волгин. – Меня не интересует ничего, кроме пациентов.

Да он просто чокнутый, этот Нойман, брезгливо думал Волгин, спустя некоторое время возвращаясь из шпехтовской лаборатории с ящиком лекарств под мышкой. Очередной буйный психопат. Среди эсэсовцев вообще хватало людей с психическими отклонениями. Что делать, если и впрямь увезут из лагеря? Как тут будет Лёнька, справится ли?.. Нет, лучше пока даже не думать. Шпехт выдал лекарства, анестетики, шприцы, перевязочный материал, перчатки, – надо работать.

Волгин вместе с Лёнькой обошли пациентов, дали лекарства, сменили повязки, осмотрели парня, которому надзиратель раздробил руку лопатой во время дорожных работ, – по идее, руку надо было ампутировать, чтобы не началось заражение, но Волгин, как это часто с ним бывало, во время операции руководствовался не столько логикой, сколько необъ-

яснимым велением интуиции и рискнул, руку оставил, и теперь парень явно шел на поправку. Во время осмотра Волгин непременно беседовал с пациентами – каждого расспрашивал, каждому говорил что-нибудь ободряющее.

– Хорошее слово порой стоит обезболивающего, – учил он Лёньку.

– Я даже со скотиной разговаривал, когда на ветеринарном учился, Гавриил Алексеич, – щербато улыбался Лёнька. Зубы ему выбили уже здесь, в плену.

Когда Волгин заглянул в свою каморку в конце барака, чтобы взять из шпехтовского ящика с препаратами еще пару ампул пенициллина и шприцы, то обнаружил, что ящик пропал. Он чертыхнулся, выглянул из каморки, позвал Лёньку, но вместо паренька из полумрака к нему шагнула одна из немок-медсестер, Хильда.

– Ты что-то потерял, красавчик? – тихо спросила она.

– Где ящик с лекарствами?

– Это незаконная поставка, милый доктор. По правилам, твои пациенты не должны получать таких лекарств. Они предназначены только для наших солдат. Я забрала ящик. Но ты можешь вернуть его, если заглянешь в ординаторскую лаборатории сегодня вечером. Получишь не только лекарства, но и кое-что еще. – Медсестра шагнула ближе и протолкнула пухлое колено ему между ног.

Волгин смотрел на нее строго и спокойно.

– Меня пациенты ждут, Хильда.

Немка подождала еще немного и отодвинулась.

– Подумай, доктор. Твоим пациентам нужны лекарства. Как надумаешь – приходи. Только не слишком поздно. Сам знаешь, ночами по лагерю ходить запрещено. – Улыбнувшись напоследок исподлобья, Хильда ушла.

Ну и что теперь делать-то, тоскливо подумал Волгин. Чего ей неймется, гниде, эсэсовцев ей, что ли, не хватает? Препаратов больше не было. Вообще. Даже аспирина, даже бумажных лент. Асептиков и антисептиков тоже не было. В бараке для рожениц у него лежала украинка на сносях, с огромным животом, родит со дня на день – откуда-то Волгин точно знал, что там тройня, первая в его практике: трое отличных пацанов, которые будут спасены, пристроены в немецкие семьи, но вот сами роды будут очень тяжелыми. Что он будет делать без раствора йода, без хирургических нитей, как будет зашивать многочисленные разрывы?

Волгин снова принялся метаться по бараку, сопровождаемый взглядами своих пациентов. А и пойду, с гадливым отчаянием подумал он. Пойду и потребую у твари вдесятеро больше препаратов. И оттрахаю так, что не поднимется. Если, конечно, женилка сработает. А как вообще может сработать на навозную кучу, на разжиревшую лагерную крысу, на груду отбросов? Похотливая детоубийца была гаже всего этого, вместе взятого.

– Гавриил Алексеич, – тихо позвал Лёнька, прекрасно видевший, что на душе у Волгина и так погано. – Там опять

этот поляк пришел…

– Убью! – Волгин метнулся к выходу из барака и вдруг вспомнил – о чем там трепался Вильчак? Говорил, что может «организовать» лекарства… Лекарства! В обмен на предоставление больничных тайников лагерному Сопротивлению. Что хуже? Опасность или мерзость? А если Хильда обманет его и не вернет ящик? С нее еще как станется.

– Я согласен, – с ходу выпалил Волгин в лицо Вильчаку, который явно приготовился к очередному граду ругани и тумаков и оттого поначалу даже растерялся. – Тащите ваше чертово оружие, тайники я покажу. Но лекарства мне нужны прямо сейчас.

– Спасибо, пан доктор. Я знал, что вы нам поможете. За лекарствами пойдем вместе, сегодня ночью. Один я не справлюсь.

– Ночью из бараков нельзя выходить, идиот.

– Нельзя, – согласился поляк. – Но я знаю способ. Заодно увидите, что здесь на самом деле творится, пан доктор.

Волгин показал Вильчаку и двум его приятелям тайники под нарами – отчего-то сопротивленцы были еще и недовольны, что тайники вырыты прямо в голой земле, натаскали досок; Волгин только рукой махнул, мол, делайте что хотите. А затем с трудом дождался ночи. Ходил среди своих пациентов, которым ничем пока не мог помочь, кроме как словом. Говорил с ними. Сидел рядом с недавно привезенной в лагерь фронтовой медсестрой, больной и брюшным тифом,

и пневмонией разом, ее лихорадило, она дышала с трудом, а Волгин только и мог, что положить ладонь на ее раскаленный лоб и сказать:

– Катерина, посмотри на меня. Тебя дома двое детей ждут. Ты здоровенных мужиков из-под огня вытаскивала, а с болячками ведь и подавно справишься, верно?

Женщина смотрела на него с самого дна температурного ада и мелко, едва заметно кивала. Лёнька поначалу сильно опасался инфекционных больных и удивлялся, как Волгин не боится заразы – а Волгин и впрямь не боялся, он просто знал, что не заразится, потому что очень нужен, и тому же научил Лёньку: «Не бойся – и не заболеешь». Лёнька научился, ничего другого здесь просто не оставалось.

Наконец пришел Вильчак. На шее у него висел плоский солдатский фонарь. Было уже за полночь. Волгин снял халат и надел худую телогрейку.

– Слушайте внимательно, пан доктор. Идите за мной. След в след. По сторонам не смотрите. Ничему не удивляйтесь. И не бойтесь. Главное – не бояться.

«Не бояться» – это Волгин хорошо усвоил еще в мединституте. Но делать глупости он не умел.

– По нам и так охрана будет стрелять, если заметит. А ты еще и с фонарем!

– Пан доктор, ночью фрицы сами из бараков носу не кажут. И ночью они не стреляют. Вообще стараются не шуметь. Истинно так. Поверьте мне.

И они пошли. Грязь подмерзла, ее покрывал тонкий слой мелкого, будто пепельного снега. Кое-где снег сдуло ветром, открывая кромешную черноту безжизненной лагерной земли. Прожекторов было мало, освещали они только комендатуру, казармы, лаборатории да забор из колючей проволоки под электротоком. Остальное тонуло во тьме. Был ли кто на вышках – этого Волгин различить не мог.

Предприятие было совершенно безумным, и оттого Волгин предпочел следовать рекомендациям поляка, какими бы дурными те ни казались. Шел точно по его следам. Головой старался не вертеть. И все же краем глаза замечал такое, что, поначалу думалось, было лишь причудой утомленного сознания… Вот к груде мусора возле кухни побежала крыса – здесь крысы кишели повсюду. Но не добежала. Посреди вылизанного ветром голого черного клочка земли будто прилипла к чему-то. Раздался пронзительный писк – и крыса начала погружаться в землю, будто тонуть в грязи, хотя было морозно, грязь смерзлась в камень. Вот крыса и вовсе исчезла. Вот то же повторилось с другой крысой. А вот неподалеку от ограды погружается в землю дохлая ворона… Волгин зажмурился, открыл глаза. Больше надо спать. Больше надо есть. Недаром Лёнька строго следил за тем, чтобы Волгин не отдавал свой удвоенный паек пациентам – «Вам нужны твердые руки, Гавриил Алексеич…».

Подошли к новым, кирпичным, недостроенным баракам. Эти стены без кровли, с зияющими тьмой окнами, стояли

так, еще когда Волгина только привезли сюда из сортировочного лагеря для военнопленных. С тех пор ничего тут не изменилось. Вильчак забежал в дверной проем, поманил за собой. Волгин зашел, только сейчас разобрав, что же поляк всю дорогу бормочет себе под нос. Вильчак молился. Читал «Отче наш» на латыни. По кругу. *Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra…*

В недостроенном бараке возле стены лежал связанный по рукам и ногам немецкий солдат. Эсэсман из охраны. Рот у него тоже был завязан, дико блестели в свете фонаря глаза, полные живого, умоляющего, человеческого ужаса.

– Ты совсем рехнулся? – зашипел Волгин на поляка. – Этот тут еще зачем? Хочешь, чтобы нас обоих с утра повесили на плацу?!

– Это то, на что мы обменяем лекарства, – спокойно пояснил Вильчак, говоря об эсэсмане так, словно тот был просто крупногабаритной вещью. – Его не будут искать. Тех, кто пропал ночью, не ищут. Я вам говорил, пан доктор: не удивляйтесь. Этим способом мы уже достали оружие. Достали еду. Достанем и лекарства. Берите его за ноги, пойдем.

Лекарства, повторил про себя Волгин. Мне нужны лекарства. Наплевать на все остальное, я врач, меня ждут пациенты! Волгин поднял немца за ноги и пошел следом за Вильчаком во тьму. Фонарь высветил промерзшие горы земли, какое-то чуть ли не бетонное заграждение в ржавой колючей

проволоке, стальную дверь, мощный замок, который поляк отомкнул висящим на шее, под одеждой, ключом, – и ступени, ведущие вниз. Каменные. Неровные. Что за чертовщина, зачем лагерному бараку подвал?

– Это вход в подземелье, – вполголоса пояснил Вильчак. – На него наткнулись, когда строили барак. Несколько строителей погибли. Там, внизу, сущий лабиринт. Век шестнадцатый, судя по сводам. Когда-то тут стояли дома, их сожгли, видите, на камнях сколько копоти? Давным-давно. А подвалы остались. Нам туда, пан доктор.

Крутая винтовая лестница. Странное эхо от шагов, гулкое, глубокое, влажное, будто спускаешься в чью-то огромную глотку. Прыгающий свет фонаря выхватывал надписи и символы на плотной кладке стен.

– Что это за место? – спросил Волгин, с трудом удерживая отчаянно выгибающегося связанного солдата.

– Здесь жили алхимики. Это их знаки. В подземелье была лаборатория. Надо сказать, в своих опытах они продвинулись несравнимо дальше, чем наш доктор Шпехт…

От ледяной иронии Вильчака почему-то сделалось жутко, хотя Волгин был отнюдь не из пугливых. Ни разу за весь год пребывания в этом лагере Волгин не обращал внимания на слухи, гулявшие среди пациентов. Даже не прислушивался особо, когда больные стращали друг друга россказнями о том, что на территории лагеря в любом месте можно провалиться под землю. И что немцы специально оставляют

мертвецов, не хоронят, – тела, мол, сами погружаются в землю, а отчего трупы предварительно наполовину сжигают – так, мол, земля охотнее принимает подношение… Никогда Волгин не задумывался о происхождении подобных баек. В концлагере и так хватало ужасов, особенно на его врачебную долю. Некогда было думать о чем-то еще.

Стены раздвинулись и пропали в темноте. Неясно, насколько обширным было подземное помещение – Вильчак вдруг быстро прикрыл фонарь рукой, и света хватило лишь на то, чтобы различить участок пола из каменных плит и край какого-то круглого резервуара, похожего на небольшой бассейн или огромный колодец.

– Пришли, – сказал Вильчак и поставил фонарь на пол.

– И что дальше? – Волгин в растерянности заглянул в резервуар – и отшатнулся, опережая возглас поляка «Осторожней, пан доктор!». Резервуар был до самых краев полон тьмой – но не обычной темнотой, отсутствием света, а некой беспросветно-черной, явственно шевелящейся субстанцией. Она перетекала сама в себя, тихо вздыхала, *жила*. И пахла – какой-то неопределенной органикой, будто свежевскопанный чернозем.

– Боже правый, что это?..

– Это апейрон. Первоматерия, пан доктор, – до дикости спокойно объяснил Вильчак. – Неопределенность и беспредельность. То, из чего исходит все сущее в материальном мире и во что все возвращается. Обычно любое вещество не за-

держивается в этом переходном состоянии, ибо апейрон есть вечное движение, но алхимикам удалось его зафиксировать. За что они, скорее всего, поплатились жизнью.

– Зачем… как… – Волгин был не в силах собраться с мыслями.

– Зачем здесь концлагерь? Судя по тому, что нам удалось выяснить, нацисты давно искали эти подземелья. Искали апейрон. Нашли, как водится, случайно. И решили не эвакуировать лагерь, а использовать заключенных для опытов. Вы же сами видели, в каком состоянии люди возвращаются из лабораторий.

Конечно, Волгин видел. Невесть как приживленные чужие руки и ноги. Невесть во что превращенные внутренности. Он-то думал, это адская фантазия Шпехта и его практикантов…

– Немцы не достигли успеха в опытах с апейроном. Причина в том, что первоматерия обладает первосознанием. С ней бесполезно экспериментировать. Ей нужно просто отдавать – и забирать. Отдавать – и забирать. Закон равноценного обмена. Его нацисты и так знают. Именно потому они затеяли массовое уничтожение неугодных им народов. Они отдают изначальному поляков, русских, евреев, цыган и прочих для того, чтобы их собственный народ прирастал.

Голос Вильчака звучал в подземелье с неизъяснимой торжественностью, даже речь его изменилась – стала богаче, почти пропал польский акцент.

– Принципы равноценности понять сложно. Когда мы только обнаружили, что тут скрывают нацисты, мы пытались обменивать вещи на вещи. У нас либо вообще ничего не получалось, либо получалось не то, что мы хотели. Так выяснилось, что охотнее всего апейрон принимает живую материю, точнее – живое, переходящее в мертвое, недавно бывшее живым. При таком обмене можно получить именно то, что нужно.

– И что я должен сделать, чтобы получить лекарства? – безголосо спросил Волгин. Голоса просто не было, связки отказали, сведенные спазмом.

Поляк протянул Волгину хирургический скальпель. Такой же, каким сам Волгин пользовался во время операций.

– Нанесите этому фрицу ранение. Опасное. Еще лучше – смертельное. И отдайте его апейрону. Просто сбросьте в колодец. А затем представьте себе ваши лекарства. Во всех подробностях. Лучше в каком-нибудь герметичном ящике, так легче и быстрее будет вытаскивать. Опустите руку в апейрон, нашарьте их там и вытащите. И так несколько раз. Думаю, нашего фрица хватит на три хороших ящика. Вы сами почувствуете, когда обмен прекратится. После этого не настаивайте. Иначе апейрон заберет и вас.

– Господи… – Волгин попятился. Он сказал бы, что Вильчак просто сбрендил к чертям собачьим, если бы не живая тьма в резервуаре – плотная, вещественная, дышащая, как будто даже любопытствующая, зачем в ее владения пожало-

вали эти три жизни, три ярко горящих огня в утробной подземной черноте.

– Не думал, что вы так испугаетесь, пан доктор, – сказал поляк. Отсветы фонаря горели в его глазах холодным влажным блеском. – Вы же врач. Вы же не пугались, когда из лабораторий в ваш лазарет приносили умирать людей, изувеченных опытами с первоначальной субстанцией. Хотя тогда перед вашими глазами было куда более страшное зрелище.

– Я думал, это какие-то изуверские нацистские эксперименты… Пересадка конечностей… Испытание каких-то кислот… Шпехт говорил, они испытывают химическое оружие…

– Откуда химическое оружие в этом небольшом лагере? Здесь испытывают только апейрон, пан доктор. Испытайте и вы. Ну же, вам ведь нужны лекарства? Или я ошибся, приведя вас сюда? – Тут поляк достал пистолет, новенький, блестящий, как игрушка, парабеллум, и направил на Волгина. – Если струсите сейчас, я и вас обменяю на оружие, пан доктор. Мы собираемся устроить восстание, нам нужно много оружия.

– Черт возьми, Яцек! Я врач! Я лечу людей, а не убиваю их! Я не могу убить человека! Даже… даже вот такого… – Волгин глянул на связанного эсэсмана. Тот, видать, давно все понял, его вытаращенные глаза прямо-таки источали ужас, и он обделался, бедолага, от него остро воняло экскрементами.

– Пан доктор, ну что же вы? Поймите, вы не столько лечите людей, сколько обмениваете их. Обмениваете жизнь на смерть. Каждый божий день вы этим занимаетесь. Когда отдаете медсестрам на утопление младенцев. Когда отдаете Шпехту на умерщвление тех пациентов, которые, по-вашему, уже не выживут. У вас почти нет медикаментов, вы делаете операции и принимаете роды в ужасной грязи – и что же? Вашей статистике позавидует любая хорошо оснащенная клиника! Все ваши операции заканчиваются успешно. Все роды проходят великолепно, даже в самых сложных случаях вы выкручиваетесь. А все потому, что давно приносите дань апейрону…

– Откуда вы знаете про мою статистику? – едва выговорил Волгин.

– Когда имеешь дело с первоматерией и первосознанием, начинаешь узнавать многие вещи просто так, неведомо откуда. Я теперь свободно говорю на десяти языках. Отлично владею немецким оружием, которого раньше в руках никогда не держал. Да и без того про вас, пан доктор, по всему лагерю слухи ходят. Вас считают чудотворцем.

– Нет, нет! – Волгин посмотрел на свои трясущиеся руки. – Просто у меня были хорошие учителя. Просто мне всегда везло. Просто… это воля Божья…

– По воле Божьей вы и оказались здесь, пан доктор. Вам нужны лекарства? Так берите их!

Лекарства. Да черт все побери, лучше бы я к Хильде по-

шел, мысленно взвыл Волгин. Любая мерзость лучше, чем убийство. Если, конечно, Хильда не обманула бы… наверняка провела бы, гадина… Руки сами потянулись к скальпелю, который по-прежнему протягивал поляк. Меня ждут пациенты, сказал себе Волгин. Ждут пациенты. Меня и лекарства. В конце концов, после всего, что натворили нацисты, этот проклятый обмен будет вполне справедлив!

Руки, привычные резать человеческую плоть ради исцеления, не дрогнули и на убийстве. Одним точным движением Волгин вскрыл эсэсману горло и столкнул страшно хрипящего немца в резервуар. Надеялся, что солдат утонет быстро, – но не тут-то было. Пару минут Волгин вместе с бесстрастным Вильчаком вынужден был наблюдать, как чернота, смакуя, обнимает судорожно бьющегося и истекающего кровью немца, неспешно поглощает его, заливается в рану на горле, в рот, в глаза. Никогда в жизни Волгина не рвало от вида покалеченного тела, даже совсем зеленым студентом в анатомичке, – а тут вывернуло так, что от силы спазма он едва сам не полетел в колодец.

– Вообразите лекарства, – напомнил Вильчак. – Как можно подробнее. Любые лекарства, инструменты или что вам еще надо. Какие они на ощупь, чем пахнут. Вообразите их сложенными в большой ящик. А теперь берите этот ящик. Пора! Но прежде – вообразите как следует!

Ампулы с препаратами. Шприцы. Пачки бинтов. Стерильная вата. Хирургические нити. Инструментарий. Асептики в пузатых склянках. Волгин лихорадочно соображал, стоя на коленях у самого края резервуара, над дышащей ему в лицо первозданной тьмой. Еще конкретнее, еще точнее! Нашатырный спирт. Этанол. Сульфаниламиды. Гексенал. Новокаин. Раствор морфина. Эфир. Йод. Глюкоза, аспирин, пирамидон, риванол, кодеин, еще, еще… И все в таком большом

стальном ящике…

Совершенно уже не отдавая себе отчета в том, что делает, Волгин наклонился еще ниже, опустил руки в вязкую, но податливую тьму. Все равно что в живую плоть. Тепло, мягко, влажно. Почти незамедлительно пальцы наткнулись на что-то твердое, с прямыми углами. Волгин поднатужился и, снова едва не свалившись в резервуар, вытащил большой металлический ящик. Гладкая сталь, слегка нагретая словно бы теплом тела. Волгин поставил ящик рядом на камни, откинул крышку. Ампулы, шприцы, ножницы, пинцеты, бинты, перчатки… Все новехонькое, в нетронутых упаковках – и с надписями на русском. На русском! Будто свежая поставка в полевой госпиталь, в котором Волгин почти круглосуточно трудился до контрнаступления немцев, там все работали почти круглосуточно, хирурги стоя засыпали у столов, пока санитары уносили прооперированных, и тогда, вздрагивая, хирурги просыпались, оборачивались на бесконечную очередь раненых и столь же бесконечно усталыми голосами говорили: «Следующего…»

Волгин достал из ящика первую попавшуюся пачку, прочитал: «Стрептоцид белый». Пальцы чувствовали чуть поскрипывающий под плотной бумагой порошок. Затем Волгин вытащил склянку с йодным раствором. Откупорил, понюхал. И вот тогда заплакал, как ребенок.

– Время, пан доктор, время! Пока апейрон помнит про вашу дань, есть возможность достать еще самое малое два

таких ящика! А память у него короткая!

И Волгин, до ломоты в затылке включив воображение, снова опустил руки в плотную, плотскую тьму, чтобы достать второй ящик. И третий. Дико оскалившись, все еще плача, с безумно горящими глазами, Волгин опустил дрожащие руки во тьму в четвертый раз – и почувствовал, что теперь его не пускают.

– Довольно, пан доктор, – остановил его Вильчак. – Вы же видите – все. Не смейте настаивать, если не хотите расплатиться за ваши пилюли еще и собственной жизнью.

Пошатываясь, Волгин принялся медленно подниматься по крутой лестнице с двумя тяжелыми ящиками в руках. Третий ящик нес Вильчак и спокойно отвечал на беспорядочные вопросы Волгина – тот хотел понять, хоть немного понять, его вышколенное медициной сознание просто не могло иначе, даже в самых невозможных условиях оно требовало знаний.

– Почему тут опаснее всего именно ночью, говорите? В изначальном свет перемешан с тьмой. Помните, пан доктор? Ах да, не знаю, читали ли вы… Кажется, у вас теперь вовсе запрещено это читать? *Земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет*[1].

– *И отделил Бог свет от тьмы*, – пробормотал Волгин, так и видя перед глазами первую страницу большой бабуш-

[1] Бытие, глава 1.

киной книги.

– Свет останавливает движение изначального. Запирает его в воплощенной форме. На солнечном свету апейрон становится просто пылью, камнями, пеплом, водой… Почему ночью все бараки здесь не ушли под землю? Потому что большинство людей в бараках думает о жизни. Во многом именно благодаря вам, пан доктор, вам и вашей непоколебимой вере в жизнь. Но немцы своими порядками в конце концов всех нас заставят думать только о смерти. И тогда нам всем придет конец. Ведь неспроста, совсем неспроста этот голод, эти издевательства, показательные казни… Апейрон повинуется замыслу. Что Божескому, что человеческому. Думающему о жизни он дарит жизнь, думающему о смерти – смерть. И всегда – в обмен на что-то равноценное. А животные, которых здесь поглощает земля, скорее всего, стары или смертельно больны…

Вернувшись в кранкенбау, Волгин первым делом спрятал ящики с лекарствами в своем личном тайнике, о котором не знал никто, кроме него, даже Лёнька. Отныне всегда и повсюду внимание, сказал себе Волгин. Самое неусыпное внимание! Никто не должен видеть русских надписей на этикетках. Особенно медсестры-немки.

Но вот с Лёнькой Волгин быстро попался. Настолько привык доверять своему медбрату, что перед первой же операцией не глядя кинул ему все нужные упаковки, принес склянки с асептиками и ушел в каморку мыть руки. Ко-

гда вернулся, Лёнька обалдело таращил глаза, держа двумя пальцами, будто невиданное диво, бумажный конверт, на котором было написано по-русски: «Иглы хирургические».

– Гавриил Алексеич… это откуда?..

– Лучше не спрашивай, – сказал Волгин таким голосом, что Лёнька тут же заткнулся. И действительно больше не спрашивал.

Восстание в лагере случилось через неделю. Волгин его напрочь проглядел, как и прежде проглядел многое, будучи единственным врачом на весь лазарет. Когда где-то неподалеку рассыпчато затрещали автоматные очереди, Волгин вместе с Лёнькой как раз принимали сложнейшие роды у хрупкой, слабенькой белобрысой польки. Узкий таз, крупный ребенок, да еще тазовое предлежание, да еще обвитие пуповиной. Волгин едва отдавал себе отчет в том, что на улице происходит что-то необычное, а когда наконец все завершилось, восстание закончилось тоже. Волгин, с ног до головы мокрый и одуревший от психического напряжения, с окровавленными руками, накладывал последние швы в промежности женщины. Это была победа. Мать жива, ребенок жив – и будет жить дальше, в немецкой семье. Волгин с Лёнькой утомленно улыбнулись друг другу: отличная работа, просто отличная. В этот миг в конце кранкенбау распахнулась дверь и раздался надсадный голос надзирателя, орущего по-немецки: «Никому не выходить из бараков! Кто высунется – расстреляем на месте! Никому не выходить!..»

А на следующее утро на аппельплаце – лагерном плацу – состоялась казнь, посмотреть на которую уже, напротив, согнали всех, кто только мог передвигаться. В отличие от Волгина, повстанцы потерпели поражение. Не помогли им ни тайники, ни горы оружия.

Волгина бесцеремонно вырвали из утреннего осмотра и прямо как был, в белом халате, повели на плац вместе с половиной его пациентов. Он заорал на солдат, чтобы те не трогали тяжелых больных и родильниц, и вооруженные автоматами немцы действительно отступили от больничных нар. Среди участников восстания, выстроенных на плацу напротив виселиц, Волгин без труда нашел Яцека Вильчака. Даже издали было видно, что кисти рук у поляка представляют собой бесформенное кровавое месиво, просто фарш. Вильчака допрашивали, пытали. Сознался ли он, откуда взял оружие? Волгину показалось, что Вильчак тоже отыскал его взглядом в огромной толпе заключенных и слегка помотал головой. Саркастически, печально, предупреждающе? Этого Волгин не смог понять.

Комендант Клаузен своим писклявым голоском разъевшегося амура толкнул обычную в таких случаях короткую речь – о том, что все враги Германии непременно будут перевешаны, как «вот эти крысы», – и махнул рукой ражему детине в надвинутой на глаза каске. Тот пошел выбивать чурбаки из-под ног осужденных. Так все и закончилось. И во время казни Волгин, к собственному стыду и страху, думал

вовсе не о самой казни, не об этих несчастных и даже не об опасности, которой он сам подвергается вместе со всеми пациентами, ведь наверняка в тайниках осталось оружие… Нет, Волгин думал только о ключе, висящем на шее Вильчака – на шее, которую уже стянула пеньковая веревка.

Думал только о ключе от подземелий.

Повешенные провисели на аппельплаце ровно сутки, для устрашения прочих узников. Затем казненных уволокли к здешнему крематорию под открытым небом – выкопанной на окраине лагеря большой яме, где были установлены огромные железные решетки и на этих решетках медленно горели трупы. Полусгоревшие останки немцы сбрасывали с жаровен работникам из заключенных, которые лопатами кое-как рубили обугленные тела на части и оставляли прямо здесь. Жаровни горели круглосуточно, но полусожженных останков было мало, и Волгин вспомнил рассказы Вильчака о том, что именно такое подношение охотнее и быстрее принимает пронизанная первоматерией страшная черная земля этих мест. Возле ямы сладковато и тошнотворно пахло горелым мясом. Волгин подошел, косясь на охранников по ту сторону жаровен, о чем-то споривших, и на офицера, стоявшего к нему спиной. Начал спускаться по пологому откосу ямы, куда сваливали тела для последующего сжигания. Конечно – шанс мизерный, к тому же глупо и опасно. Вот тут-то пулю можно было заполучить только так. Но лекарства и еда для пациентов… Лекарства и еда. Апейрон. Ключ

от подземелий. Бродя между телами, оступаясь на простертых мертвых конечностях, Волгин заметил, что некоторые трупы уже глубоко вросли в слегка припорошенную снегом землю. Сглотнув, он еще раз огляделся. Одинаковые грязно-сине-полосатые робы, одинаковые истощенные тела. Ну где же?

Вильчак лежал лицом вверх. Искаженное, неузнаваемое лицо удавленника. Волгин наклонился, обмирая: не забрали ли гестаповцы при допросе, не выбросил ли сам осужденный перед казнью? Ключ был на месте. Вместе с какими-то крестами и амулетами, за которыми его, видать, и не заметили. Засаленная веревка на худой груди, холодное железо.

– Эй, ты там, Асклепий вшивый! – закричал офицер, узнав Волгина даже без белого халата. – Что, пришел воскрешать покойничков? А ну, проваливай отсюда! Не то станешь таким же, как они!

Волгин поспешно сдернул с мертвеца ключ, надел его себе на шею и принялся карабкаться вверх по склону, почти физически чувствуя, как офицер смотрит ему в спину, лениво раздумывая: застрелить или черт с ним.

Кого придется обменивать на следующую партию лекарств, хватит ли вообще духу проделать такое в одиночку, самому, а не под дулом пистолета – об этом Волгин пока старался не думать.

Ближе к вечеру, после наложения шины на один пустяковый перелом, после одних быстрых и легких родов с мла-

денцем на онемечивание, Волгин почти успокоился. Ничего, что-нибудь придумает. И потом, препаратов хватит еще на какое-то время. Вот достать бы нормальной еды… Едва зайдя в свою каморку и опустившись на нары, такие же жесткие и сучковатые, как у прочих узников, Волгин закрыл глаза. Из-за хронического недосыпания он отключался, едва только выдавалась свободная минута.

И уже через миг выдернул себя из дремы, заслышав чьи-то шаги, безошибочно распознанные среди стонов и бормотания больных.

В проеме стояла медсестра Хильда.

– Доктор, откуда это?

Немка показала крупный осколок оранжевого стекла, на котором остался преизрядный обрывок бумажной наклейки с русской надписью: «Огнеопасно! Эфир медицинский».

Такой ужас, как теперь, Волгин испытывал разве что в подземельях, у черного резервуара с непознанным. Упаковки и склянки от препаратов Волгин поручил тщательно уничтожать Лёньке, и сам следил, чтобы все было сделано как следует. Если не было возможности сжечь, разодранные в клочья упаковки Лёнька прятал в недрах мусорных куч – там немцы уж точно не стали бы рыться, а узники, копающиеся в отбросах ради чего-нибудь хоть отдаленно пригодного в пищу, в концлагере были самым обычным явлением. Так неужели что-то забыли? Осколки склянки от эфира Волгин закопал в мусоре собственноручно. А каким спасением был

этот эфир, вместе с маской для наркоза, – на днях Волгин буквально с того света вытащил заключенного, получившего пулевое ранение в брюшную полость…

– Я следила за тобой и видела, как ты прятал это в мусоре, – тихо сказала Хильда. – Доктор, я Шпехту доложу, если ты сам мне не расскажешь. И тогда тебе придется объяснять лагерному гестапо, откуда здесь русские медикаменты.

На душе у Волгина стало кромешно-черно, как в подземном резервуаре алхимиков. И плескалось там нечто непостижимое и всепоглощающее, будто в безвременье до-творения, когда свет не был отделен от тьмы.

– Пойдем, Хильда, я покажу тебе, откуда взял эти препараты. Тут недалеко совсем. Сама все увидишь, – тоже тихо и совершенно мертво произнес Волгин.

– Ладно. – Медсестра повернулась, и в это мгновение Волгин успел цапнуть из лотка с дезраствором скальпель.

Немка запахнула серое форменное пальтишко женского подразделения СС, Волгин накинул драную телогрейку, и они вместе вышли из барака в снежную круговерть. Снег был весьма кстати. Плотная белая завеса скрадывала очертания, заглушала звуки. Больше шансов, что охрана не заметит, куда они направляются.

– Тебе с самолета сбросили медикаменты, да? – спросила Хильда. – Ваши обычно только листовки сбрасывают. И бомбы.

– Сюда, – Волгин указал на недостроенные бараки.

– А туда запрещено ходить, доктор! Там, говорят, опасно! – Немка уперлась было, но сразу пошла, как только Волгин взял ее под локоть. – У тебя там что, тайник?

– Увидишь.

Днем недостроенный барак со входом в подземелье, разумеется, охранялся, но всего парой солдат, чтобы не привлекать лишнего внимания, да и не ходил сюда никто, боялись. От Вильчака Волгин знал, что с другой стороны барака есть провалившийся участок стены и там можно пройти по настилу над ямой. Придерживая опасливо семенящую немку под локти, Волгин прошагал по скрипучим доскам внутрь постройки. И сразу достал из-под телогрейки, из кармана застиранного медицинского халата, скальпель.

Вечерело, но в бараке без кровли, с редкими стропилами, было снежно-светло. Хильда сразу заметила скальпель. И сразу все поняла. Округлила пустенькие, стеклянистые, как у куклы, глаза, всплеснула руками.

– Не вздумай орать, – глухо сказал Волгин. – Скольких младенцев ты утопила, Хильда? Сотню? Две? Тысячу? Не считала?

– Я… я же просто выполняла приказ… – Немка заплакала. – Мне приказали! Ты что же, доктор, думаешь, мне нравится детей топить? Я для того, что ли, акушерские курсы заканчивала? А что делать, если приказано!

– У всех у вас «приказано». – Волгин с болезненным наслаждением ощутил, как в нем поднимается огромная, как

волна всемирного потопа, непроглядная ненависть.

– Да, у всех! – беспомощно повторила Хильда. – Я и так много раз нарушала приказы! Я ведь не стала докладывать Шпехту, что у тебя откуда-то взялись новые инструменты! Специально спрашивала наших девчонок – никто тебе ничего не передавал. Не доложила и о том, как ты чего-то искал среди трупов. Хотя должна была!

– Следила, значит. Тебе делать больше нечего, да, кроме как шпионить за единственным дипломированным медиком на весь этот проклятый лагерь? Когда ваши сраные докторишки боятся, видите ли, руки замарать о «представителей низших рас»!

– Да я не по службе шпионила! Просто ты мне очень-очень нравишься, вот и все! А ты на меня даже смотреть не хочешь. Брезгуешь. Что мне делать-то было? Не такая я мерзкая, как ты думаешь…

Впервые Волгин посмотрел на эту Хильду как следует – вообще впервые за все время пребывания в лагере ее *увидел*. Не как инструмент для убийства младенцев, не как очередную угрожающую тень в униформе, от которых тут некуда было деваться, – а как человека. Прежде Волгин никогда толком и не отличал одну немецкую медсестру от другой, все они для него были практически неодушевленными предметами, гнусными бабищами без возраста и без внешности, которые только топят в бочке детей. Между тем Хильда оказалась миловидной девушкой: круглое лицо в веснушках, лад-

ная полнота, льняные кудряшки. «Ты что-то потерял, красавчик?» – вспомнилось Волгину. Не наглость прожженной развратницы, а всего лишь истерическое отчаяние молоденькой дурочки. Топнул бы на нее – мигом бы убежала.

– Я бы тебе и так препараты принесла, любые, если бы попросил. И помогла бы, вместо этого щербатого, я же акушерка. Если бы попросил. А ты всегда только – «пошла вон»…

Действительно, Волгин гонял немок от больных и рожениц. Препятствовать утоплению младенцев он не мог – его бы просто расстреляли, – но сказать: «Сделала свое поганое дело, а теперь пошла вон отсюда!» – было вполне в его власти.

Хильда перевела взгляд на его руку, сжимающую скальпель, и Волгин тоже невольно посмотрел на свои руки. Красноватые и шелушащиеся от непрестанного мытья и асептиков, крупные, с обкорнанными до самого мяса ногтями. Эти руки не должны были убивать. И скальпель – скверное орудие убийства. Годится разве что горло перерезать.

– Знаешь, Хильда, нас разделяет пропасть. Ты можешь уйти из концлагеря, когда захочешь. Тебя никто не держит на этой службе. Но ты сама выбрала остаться. Сама выбрала топить детей. А я из концлагеря уйти никуда не могу.

– Из-за тебя, доктор, я и осталась, – прошептала немка.

– Дура, – с чернейшим отчаянием сказал Волгин. Запредельным усилием воли оборвал в себе любые мысли и чувства, будто электропроводку, зажал медсестре рот и полос-

нул скальпелем по горлу. Метил в сонную артерию и яремную вену. Пусть хотя бы умрет быстро. Кровь забила из раны пульсирующей струей, снег вокруг мигом стал ярко-алый. Немка потеряла сознание сразу. Не чуя себя, будто оглушенный, Волгин метнулся к запертой двери в небольшом бетонном укреплении, трясущимися руками достал ключ, отомкнул замок – и только сейчас сообразил, что у него при себе нет фонаря. Но отступать было некуда. Волгин затащил внутрь истекающую кровью медсестру – а снег все падал и падал, сначала впитывая кровь, затем нежным пухом ложась поверху, и ярко-алое становилось розовым, все бледнее и бледнее… Волгин закрыл за собой дверь и очутился в кромешной тьме. Надо было спускаться. Туда, вниз. Волгин нашарил ногой первую ступеньку винтовой лестницы и потянул за подмышки еще теплое, еще живое тело. Густо пахло свежей кровью. Волгин нащупал следующую ступень. Нагнулся, перехватил поудобнее немку. Окровавленные пальцы слипались. Кругом была такая первозданная тьма, будто Волгин родился слепым. Будто в мире вовсе никогда не было света. И так он спускался в абсолютной черноте, слушая тихое шевеление там, внизу, где вечное и непознанное ожидало дань – очередную смерть, чтобы в обмен спасти или породить чью-то жизнь. И путь этот казался Волгину бесконечным, как время до-творения.

Ступени кончились. Волгин медленно двинулся вперед, ощупывая ногой каждую пядь. Он не мог видеть резервуар,

но слышал то, что ждало его впереди. Оттуда по подземелью раскатывались глухие и гулкие вздохи, будто там пучило газами огромный кишечник. Вот и край колодца. Волгин сбросил туда уже мертвую немку.

– Забирай, – сказал он по-русски неузнаваемым голосом, будто ржавое железо заскрежетало по камню. – И дай мне еду. Много хорошей еды для моих пациентов! И еще медикаменты, много медикаментов! На вот тебе, жри, прорва, и давай то, что я прошу, твою мать!

Наклонился и опустил руки в телесное тепло неопределенного, беспредельного и извечного.

Тушенка. Рыбные консервы. Сухари. Крупы. Сухофрукты. Сахар. И шоколад, да дьявол все разбери, мои пациенты заслужили настоящий шоколад! И еще лекарств, еще анестетиков, еще асептиков и антисептиков, еще бинтов и нитей, еще, еще!

Волгин вытаскивал и вытаскивал из резервуара герметичные металлические ящики, пока не заболела спина. В какой-то миг прежде податливое тепло стало выталкивать его прочь, но он все равно требовал, грязно ругался, со всей силы проталкивал руки внутрь, и тут мягкая тьма обвила его пальцы словно щупальцами, впилась будто тысячью крохотных жал и потащила вниз. С безумным воплем Волгин едва вырвался. Руки зудели и стремительно покрывались волдырями.

Тяжело дыша, Волгин ощупал нагромождение стальных

ящиков рядом. Их было много, очень много. Несколько десятков. У верхних он снял крышки, потрогал содержимое: консервные банки, плотно набитые бумажные пакеты, склянки, упаковки…

Волгин скинул телогрейку, на ощупь сложил в нее, как в мешок, два больших ящика, застегнул и с трудом взвалил на спину. Он никак не мог понять, в какой стороне лестница. Но страха не было. Волгин медленно дошел сначала до стены, затем двинулся вдоль нее направо, минуя какой-то провал – коридор? Следующим проемом оказался выход к лестнице. Волгин уже привык к кромешной тьме. Будто никогда и не видел света.

Наверху уже совсем стемнело и по-прежнему валил снег, вовсе скрывший кровавые следы.

Когда Волгин вернулся в кранкенбау, Лёнька как раз выносил большую жестянку, в которой обычно сжигали упаковки от медикаментов. Завидев Волгина, он разинул рот и выронил жестянку, и та, гремя, покатилась по полу, разбрасывая пепел. Волгин, закоченевший, с мертвенным лицом и ошпаренными руками, в залитом кровью белом халате, опустил себе под ноги телогрейку с ящиками. Затем вдруг упал на колени и опрокинулся навзничь.

– Гавриил Алексеич! – кинулся к нему Лёнька. – Что случилось, вы ранены?!

– Я принес еду и лекарства, – беззвучно сказал Волгин, дико глядя в потолок барака. – Там еще есть, много. Нам с

тобой надо сходить… – Тут он наконец потерял сознание. Рассыпавшийся по полу пепел простирался от его плеч будто два опаленных крыла.

Ту ночь они с Лёнькой потратили на то, чтобы перетаскать из подземелья в больничные бараки все ящики. Волгин был благодарен Лёньке за то, что тот почти ничему не удивлялся и не задавал никаких вопросов. Лишь заглядывал Волгину в лицо – с тревогой и с жалостью. И еще рассказал, что, по слухам, к лагерю приближается Красная армия, поэтому в ближайшие дни немцы собираются уничтожить всех заключенных, а затем сжечь лагерь, чтобы замести следы.

– Значит, все зря, – прохрипел Волгин, поднимая очередной металлический ящик и едва держась на ногах.

– Бежать надо, Гавриил Алексеич. Пока не поздно. От повстанцев у нас осталось оружие…

– К черту оружие. Я не оставлю своих пациентов.

Уже под самое утро Волгин вернулся в свою каморку и упал на нары. Пришел не сон, а изматывающее, затягивающее в раскаленную глубину, жалящее бесчисленными стрекалами подобие сна, в котором Волгина окружала лишь непознаваемая и беспредельная тьма первоначального. И в этом сне Волгин умолял неведомо кого отвести от лагеря нависшую смерть и предлагал в обмен что угодно, хоть собственную жизнь. Но за целый концлагерь одной жизни было мало. «Выбирай, что ты хочешь отдать», – будто бы было сказано Волгину без слов, и он увидел землю с высоты птичьего полета. Увидел многие города, многие страны. Увидел Германию, которую ненавидел всей душой. Увидел большой город, почти нетронутый бомбардировками, с прекрасными барочными зданиями, с храмами и картинными галереями, с сотнями тысяч жителей. И будто бы сказал извечному неопределенному: «Забирай вот это. Забирай и подавись, твою мать, только оставь в покое мой лагерь, моих пациентов!» И тут же увидел мириады бомбардировщиков над городом. Увидел сыплющиеся бомбы, взрывы и огненный шквал, сметающий дома, рушащий купола храмов, обращающий тысячи людей в пепел.

Очнулся Волгин только через три дня, вечером 15 февраля 1945 года. Слабый настолько, что нельзя было и руку поднять, плавающий в собственном поту, с сыпью на животе

и груди. Все трое суток, как оказалось, он пролежал в глубоком бреду, с сорокаградусной температурой. Он заболел брюшным тифом.

Еще несколько дней Лёнька преданно ухаживал за Волгиным и занимался прочими пациентами кранкенбау. А затем в концлагерь вошли советские солдаты. Эсэсовцы не успели убить ни единого заключенного. Красная армия наступала настолько быстро, что немцы просто бежали.

Долечивался Волгин уже в советском госпитале. Он мало говорил, неохотно отвечал на вопросы. Лежал, слушал звучащую кругом родную речь, неотрывно смотрел в белый потолок. Но внутренним взором видел перед собой только тьму. А во всех своих снах парил над пожираемым пламенем прекрасным городом, чувствуя за спиной тоже снедаемые огнем, рассыпающиеся в пепел крылья. Либо снова и снова спускался в подземелья на встречу с извечным в кромешной черноте, таща за собой истекающую кровью умирающую Хильду – давно и безнадежно влюбленную в него девушку, немку, детоубийцу.

Откуда-то Волгин точно знал, что будет жить долго. И спасет еще множество жизней. Ведь дань, которую он принес первоначальному и беспредельному, была великой, необъятной, на много-много лет вперед. Его руки будут нести только жизнь. Но на душе у него навсегда останется мертвая тьма. По закону равноценного обмена.

Псевдо

Камарин не помнил тех времен, когда на киностудии его родного города еще что-то снимали. Он в ту эпоху, если верить условно-цветным фотографиям ностальгически горчичного позднесоветского оттенка, был толстым и косолапым белобрысым карапузом. И уже тогда, если верить родителям, был помешан на кино: не оттащить было от телевизора, пузатого брежневского «Рубина» с лакированными деревянными боками, по которым отец от души хлопал тяжелой ладонью, если цветная картинка вдруг проваливалась в ярко-лиловые тона. Телевизор, как и сам Камарин, понимал только подзатыльники и выправлял цветопередачу. Что же до трехлетки Камарина, то он после нагоняя отлипал наконец от движущейся картинки на экране и с обиженным ревом уходил в свою комнату.

Киностудию Камарин помнил уже по девяностым: это было большущее угловатое здание неподалеку от дома, ужасно ободранное, очень депрессивного больнично-зеленого цвета. Двери за тонкоколонными портиками стояли грубо заколоченные, окна нижних этажей топорщились вспучившейся от дождей фанерой. Выше окна при всем желании невозможно было заколотить: невероятно громадные, в частом переплете, высотой в два, а то и в три этажа, они слезились битыми стеклами и в любой, даже самый солнечный день храни-

ли пасмурную серость, словно скрывая внутри здания некую таинственную сумеречную жизнь. Киностудия выходила фасадами сразу на две улицы, и везде вдоль нее росли тополя, тоже исполинские и очень старые, склонявшиеся над тротуарами, где на поребриках сидели и торговали всем на свете деловитые пенсионеры и мрачные мужики в кожанках. Товар раскладывался на картонках и перевернутых ящиках, а то и прямо на асфальте: кучи книг, вяленая рыба из местного водохранилища, сантехнические запчасти, вязаные носки и платки, антикварная мелочь, значки, бусы, трусы, картины, закатанные банки с огурцами. В этой мешанине вещей, словно вынесенных волной после кораблекрушения, и в бесконечности торговых рядов, стихийно образовавшихся на перекрестке центрального проспекта, было что-то вавилонское, да что там – апокалиптическое. Второклассник Камарин привычно проходил мимо, не глядя, барахло его не интересовало, ему до рези в желудке хотелось докторской колбасы и сникерса. Хотя и от соленых огурцов он бы не отказался. Частенько дома было совершенно нечего есть, будто в блокаду: родители по несколько месяцев не видели зарплаты.

Однако на само здание киностудии Камарин заглядывался всегда. Каким-то чудом по знакомству родителям достался подержанный японский видеомагнитофон, чудом же подстыкованный к старорежимному мебельному телевизору, и Камарин постоянно выклянчивал у одноклассников видео-

кассеты в потертых картонных обложках. С видака телевизор показывал почему-то только черно-белую картинку, но это было неважно. В заэкранный мир голливудского кинематографа Камарин влюбился такой искренней и трепетной любовью, какой позже не дождалась ни одна из его девушек. На всю жизнь «Терминатор», «День независимости» и «Титаник» остались в его памяти черно-белыми. И в этом был особый шарм, та ощутимая грань, где сегодняшняя попса переходит в неувядающую классику. Уже тогда Камарин по-взрослому прикидывал, возможно ли снять масштабный киношедевр в раздавленном нищетой девяностых региональном промышленном центре, и выходило – нет, никак не возможно. О существовании камерного, авторского кино сидевший на голливудской диете Камарин тогда еще не подозревал. Но каждый день, возвращаясь из школы, он с почтением глядел на заброшенное здание киностудии, а здание, казалось, внимательно смотрело на него огромными запыленными окнами, будто признавая в нем своего, храня лишь им двоим известную тайну.

Камарин отчаянно мечтал снимать кино.

Когда он перешел в средние классы, городские власти наконец занялись бывшей киностудией, но как-то вяло: годами здание стояло в строительных лесах, служа приютом для бомжей и бездомных собак. Тополя спилили после того, как во время грозы несколько крупных ветвей сломались и рухнули прямо на стихийный рынок, убив кого-то из спешно

сворачивающих свои картонные прилавки торговцев. Вскоре разогнали и рынок, а еще посковыривали от углов здания топорные рыжие коммерческие киоски – «комки», – забранные толстенными решетками, будто в ожидании нашествия зомби.

Когда Камарин вытянулся в худого сосредоточенного старшеклассника, бывшую киностудию все-таки отреставрировали, посадили вдоль нее молоденькие деревца и заселили за повеселевшие окна торговый центр. Здание стало чужим. Больше никто не смотрел на Камарина из заброшенного киносвятилища, незримо подмигивая ему, утверждая на избранном пути (отец, узнав, что Камарин собирается выучиться на режиссера, а не на юриста, взбесился, а мать плакала). Камарин понимал родителей – безденежья и неопределенности они на своем заводе наелись по самое горло, хуже них жил только художник этажом ниже, бессемейный, обтерханный, каждый день таскающий свою невнятную мазню в скверик, где обосновался «профильный» рынок живописцев, и бог знает на что напивающийся каждую субботу, символизирующий собой все риски «творческой профессии». Тем не менее отказываться от того, что зовется сопливым словом «мечта», Камарин не собирался.

Он закончил школу, после чего под ругань родителей, выделивших, однако, ему деньги на «одну попытку, только одну попытку!», уехал в Москву, где благополучно поступил во ВГИК. Он был не самым первым на вступительных испыта-

ниях, но понравился преподавателям своей увлеченностью.

Его выпускная работа была в жанре мокьюментари, то есть – псевдодокументального кино. К тому времени давно уже отшумела знаменитая псевдодокументалка «Ведьма из Блэр», и сотни, если не тысячи начинающих режиссеров обломились на попытке разбогатеть и прославиться, сняв нечто подобное. Впрочем, Камарин и не собирался следовать их пути. Выросший на легкоусвояемой сахарной вате Голливуда и обсмотревшийся за пять лет учебы всякого зубодробительного артхауса, он уже нашел свой стиль: простая и понятная человеческая история в резких, даже шокирующих штрихах. Он искренне хотел рассказать *свое* – и за двадцать три дня, договорившись с ребятами из театральной студии и по много часов подряд не выпуская камеры из рук, отснял материал для кино о подростках из провинции: серые дворы, стычки с учителями, ссоры с родителями, драки, курево, водка, матерки, подъезды, где и ссут, и целуются; агрессивный быт против хрупкой мечты. Один из подростков рисовал картины, что вроде как показывали ему духи умерших, и по сюжету так и осталось загадкой, то ли парень действительно что-то видел, то ли был чокнутым. Фильм Камарина по рекомендации преподавателей повезли на международный кинофестиваль, где студенческая выпускная работа наделала много шума и взяла главный приз.

Ворота в большое кино распахнулись.

* * *

Дорога из аэропорта, с бесконечными бетонными заборами и угрюмыми перелесками, была бело-черно-серой, и такими же были промышленные окраины родного города, будто явленные с ранних кинолент Линча. Ближе к центру город выглядел куда живее: появилось много ярких новостроек, вообще отдельные кварталы по своему современному лоску ничуть не уступали Москве. Камарин ехал в такси к родительскому дому и думал об итогах десяти лет своей режиссерской карьеры. Итоги эти были полным дерьмом.

Все последние годы, звоня по скайпу родителям, а также изредка наведываясь погостить на пару дней, он лишь в самых общих чертах говорил о своих проектах. Но всевидящий интернет выдавал Камарина с потрохами, родители пристально следили за его карьерой, смотрели все, что выходило на экраны с его именем в титрах, и, радуясь его финансовым успехам, натянуто улыбались, когда речь заходила о собственно фильмах. Выросшие на советском кинематографе, родители безошибочно определяли халтуру. У них хватало такта об этом не говорить. Но сейчас Камарин ехал на свадьбу сестры, там будут гости, и кто-нибудь наверняка заведет разговор про его работы… Камарину было плевать, когда его фильмы ругали незнакомые люди, отечественное кино вообще принято распекать на все корки, но почему-то

тошнило при мысли о том, что словечком типа «говно» может припечатать его проекты кто-нибудь из бесцеремонной родни. Что фильмы говно, он, в конце концов, и так знал.

Камарин попросил таксиста остановиться раньше, не у дома, а на парковке возле торгового центра – того самого, расположенного в бывшей киностудии. Никогда раньше туда не заходил. А тут – совсем забыл купить подарок сестре. Авось получится что-нибудь найти.

Однако с подарком не складывалось. Торговый центр, не выдерживающий конкуренции со свежеотстроенными и куда более навороченными комплексами (где имелись также кинозалы, бары и рестораны), явно хирел. Многие бутики стояли закрытые, их стеклянные перегородки занавешивала глухая серая пленка с логотипом центра. В прочих магазинах продавалась только одежда. Скучающие продавщицы провожали Камарина тусклыми взглядами. Поплутав по стеклянным коридорам, Камарин вышел в большое многоярусное помещение с эскалаторами, в котором его профессиональный взгляд сразу узнал перестроенный съемочный павильон. Он уже махнул рукой на подарок – потом придумает что-нибудь – и просто из любопытства поднялся наверх.

Там было сумеречно, необитаемо, тихо, только гудела вентиляция. Переделанные, но еще узнаваемые помещения киностудии навевали тоску и очень соответствовали настроению. Камарин знал, что когда-то давно здесь снимали весьма недурные фильмы: детские сказки, скромные советские

мелодрамы и даже военное кино. Последний фильм на военную тему, которым занимался Камарин, рыхлый многосерийник с обилием пафосных диалогов, особенно отличился немецкими офицершами в черных мундирах, с выщипанными в нитку бровями и ярко накрашенными губами (только латексных плеток не хватало). Вообще, у любого историка этот сериал мог вызвать припадок с судорогами, но тем не менее его показывали в прайм-тайм и кто-то это смотрел, да так, что телеканал заказал продолжение псевдоисторического безобразия. Единственное, что было в затее хорошего, – бюджетный откат, продюсеры были очень довольны, хороший кусок достался и Камарину.

Камарин посмотрел на себя в затянутое с обратной стороны серой пленкой стекло, показал отражению средний палец и вдруг заметил, что за стеклом, за смутно просвечивающей завесой, кто-то ходит. А еще там стояли, кажется, тесно сдвинутые кушетки, на них лежали люди. Здесь что, открылась студия массажа? Вывески пока не было. Вдруг за перегородкой начали гулко кашлять – надрывно, с хрипами, бульканьем и клекотом, словно у кашлюна была последняя стадия туберкулеза или как минимум тяжелый хронический бронхит. Камарин брезгливо отшатнулся и быстрее пошел прочь. Еще не хватало сейчас наткнуться на рабочего или уборщика, больного какой-то дрянью.

Камарин мельком подумал, что вполне мог бы попытаться возродить киностудию. Собрать единомышленников, купить

это здание… Его ум, уже прочно привыкший мыслить денежными категориями, сразу охарактеризовал идею как безнадежно провальную. Кому это нужно, в конце концов. В первую очередь ему самому на хрен не нужно. Тут не то что откатов не видать – тут и разориться недолго.

…А как все начиналось! После оглушительного дебюта Камарин снял еще пару артхаусных псевдодокументальных лент о подростках, довольно вторичных, но все же честных и получивших достойные отзывы. Дальше его пригласили снимать уже коммерческое кино, и все покатилось. Нет, его не пугали ни мизерные бюджеты, ни, как следствие, отсутствие звездных актеров, но ужасало то, как продюсеры понимали коммерческую целесообразность. Первый мало-мальски бюджетный фильм продюсеры так изуродовали ему еще на стадии сценария, что Камарин хотел просто плюнуть и уйти, но надо было двигаться дальше, так показать себя, чтобы бюджеты ему утверждали охотнее, и он, сжав зубы, доволок фильм до конца, хотя из задуманной драмы тот превратился в куцую дешевую мелодраму со слащавой концовкой. В довершение унижения при прокате фильм получил такие крохи, что любой режиссер в такой ситуации почувствовал бы себя не просто изнасилованным, а еще и публично выпоротым за проституцию. С полнометражками вообще было так трудно, что Камарин, внутренне пометавшись несколько месяцев, ушел в производство сериалов, благо этого добра снимали очень много и бесперебойно. Из сериала тоже мож-

но сделать шедевр. Однако жизнь сериалмейкера оказалась значительно сложнее, чем про нее рассказывали преподаватели и старшие коллеги. Денег тут крутилось больше, и потому продюсеры были еще злее и непримиримее, коллектив – еще более полным яда и сплетен, и вообще быстро стало ясно, что в качестве продукта никто особо не заинтересован, потому что телевизионный многосерийник окупается рекламой и по большому счету абсолютно все равно, чем заполнять промежутки между рекламой в прайм-тайм. Главное, чтоб легко жевалось – и ладно. Камарин пытался бороться, со скандалами бросал проекты, затем, увидев, как ширится вокруг него страшное пустое пространство, пришел каяться к тем же продюсерам, с которыми раньше разругался, кто-то милостиво принял его обратно, и Камарин постепенно просто привык. Просто продолжал работать, невзирая ни на что. Процесс привыкания походил на атрофию некоего глубоко расположенного нерва. В сериальном деле успех измеряли только коммерчески, и Камарин, постепенно пропитываясь нравами окружения, почувствовал вкус к деньгам, и деньги стали сначала утешением, а затем и оправданием пластиковым рамам в исторических вставках мыльных опер, через пень-колоду играющим актерам, растянутым водянистым сюжетам и всему прочему. Лет через пять-семь он с ужасом осознал, что разучивается разделять кино на плохое и хорошее. Отмирали какие-то вкусовые рецепторы. Дешевку и халтуру он определял теперь скорее умозрительно, но

вот прибыльность нюхом чуял.

Месяц назад Камарин случайно встретил бывшего сокурсника-одногруппника. Тот так толком и не нашел себя, до сих пор мотался по съемным квартирам и в перерывах между какой-то скучной работой снимал никому не нужные артхаусные короткометражки, которые выкладывал на «Ютьюбе», и даже количество просмотров там было смешным. Выглядел одногруппник, оплывший и обрюзгший, старше лет на пятнадцать, хотя был ровесником. Камарин же носил подростковую асимметричную стрижку, идущую к его худощавому лицу, и шел под руку со своей новой девушкой, звездой соцсетей, в лазурных дредах, восхищавшей парадоксальной смесью живости ума и очаровательной пустоголовости. Он словно со стороны увидел себя, лощеного и успешного, и даже не пытался скрывать превосходства, хотя искренне захотел помочь товарищу и предложил ему работу. Тот сразу отказался. А затем произнес такое, что, как блуждающий осколок, осталось в Камарине до сих пор.

Он сказал: «Я-то всерьез думал, ты станешь русским Кэмероном. Отгрохаешь такое, что все охренеют. А какой ты Кэмерон. Ты так… Камарин и есть Камарин».

Эти слова прозвучали в голове и сейчас, пока Камарин спускался в холл бывшей киностудии. Злополучное здание до тошноты напомнило ему его проекты. Доход кому-то приносит вполне исправно, а в остальном – пустота, бессмысленность и никчемность.

В холле на небольшом возвышении стояло что-то вроде сувенира или декорации для любителей селфи – старая, полувековой давности кинокамера с бобинами для пленки, на деревянной треноге. Видимо, владелец торгового центра оставил в качестве напоминания об истинном назначении здания. А может, воткнули хозяева пустующего мини-бара в холле. Бар назывался «Кина не будет». Как издевательство.

Когда Камарин подошел к дверям, отчетливо услышал, как по лестнице в безлюдный холл спускается кто-то на костылях. И кашляет. Но он не обернулся и поскорее вышел.

* * *

Свадебные церемонии навевали скуку. За годы московской жизни Камарин привык к торжествам совсем другого масштаба, и обклеенный розовыми сердечками обшарпанный подъезд, разномастный кортеж, визгливый тамада, стремительно напивающиеся дальние родственники – все вызывало смесь неловкости и желания куда-нибудь по-тихому смыться. Ресторан, правда, был приличный, таинственно затененный, со стилизованными под романскую древность круглыми сводами.

По профессиональной инерции Камарин вторым мысленным планом прикидывал, какие сцены можно было бы снять в таких декорациях, без интереса разглядывал гостей – про многих он понятия не имел, кто они такие, видимо друзья

сестры или родственники новоявленного зятя. Вяло боролся с желанием просто встать и тихо выйти, не дожидаясь очередного всплеска интереса со стороны этих людей. Все тут уже знали, что он довольно известный режиссер, многие хоть краем глаза, но смотрели его фильмы, и Камарин уже раз двести услышал бурные восторги (возможно, зря, но показавшиеся ему чудовищно фальшивыми), раз сто пятьдесят – вопросы, над чем сейчас работает (и заодно – когда женится), и около сотни раз ему предложили «историю из жизни», по которой срочно надобно снять оскароносный шедевр.

Камарин все-таки поднялся, думая пройтись немного по скверу перед рестораном и ради приличия вернуться потом обратно, но тут его бесцеремонно поймали за локоть. Оказалось – совершенно незнакомый парень с окладистой хипстерской бородой и в квадратных роговых очках такого размера, словно их собрали из двух форточек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.